

# Александр Маликов

Родился в 1959 году, окончил Благовещенский пединститут. Преподавал в школе, сотрудничал в газетах, работал в старательской артели. Повести Александра Маликова публиковались в альманахе «Приамурье» за 1990 и 1994 годы. Его рассказы печатала «Клевая газета» и другие газеты, не менее клевые.

Кто-то — кажется, Шукшин — посетовал, говоря о своей раздвоенной жизни: мол, я как бы стою одной ногой в лодке, а другой на берегу. Это и про Маликова. Лодка — рыбацкая — у него в селе Марково, где он проживает, а «берег» — в городе, в «Амурской правде», где он старается добыть какой-никакой хлеб, — не рыбой же единой....



## Рассказы

### САРГАССОВО МОРЕ

Саргассово море можно было бы считать величайшим из морей, если бы оно имело настоящие берега. Однако обычных для водного пространства твердых границ у этого моря нет. Но в толще его соленых вод, тем не менее, идет бурная жизнь...

Там грубой и жесткой игольчатой кожей морская звезда трется о панцирь устрицы. Она прилегает своим ротовым отверстием к раковине устрицы и тянет ее, покуда та, наконец, не раскроется. Затем звезда, вывернув свой желудок, высовывает его изо рта и обволакивает им устрицу...

А вот морской конек. Это рыба, хотя не многое напоминает в нем рыбу. У него голова, как у пони. А вместо чешуи — твердые пластины и колючие шипы. Его хвост похож на змеиный...

Вот, балансируя на кончиках ног, по дну моря шарахаются омары. Одного нечаянно вспугнул угорь, и омар бросился в сторону, прямо с пуантов совершив неожиданно резвый бросок прочь. Но скоро успокоился и большой клешней принялся ломать «квартиру» креветки, то есть ее раковину. Успех ему сопутствовал, и тогда он меньшей клешней, снабженной острыми зубцами, схватил в порушенной скорлупе тело жертвы.

А вот другие любопытные существа: длинные, скользкие, хлыстообразные — это угри. Двадцать миллионов икринок, отложенных матерью, дают столь обильное потомство, что, кажется, эти твари должны заполнить все водное пространство. И они плывут, ползут, поднимаются вверх по течению рек, пробираются в траве, ведомые инстинктом, в поисках богатого пищей водоема. Понятно, на этом пути случаются жертвы.

Странно. В этом непонятном глубоководном мире многое в точности, как у людей. Неужели на этой планете для живого существа нет вариантов? И коли тебя угораздило появиться на свет, ты принужден будешь мучиться, всегда найдется кто-то, кто примется ломать твою скорлупу либо панцирь, и если тебя в итоге не схарчат или ты не издохнешь, укушенный аспидом, то высохнешь от напасти чисто человеческой, от неизбывной тоски, например. Той еще данности, что является как бы дополнением к страхам животным.

Но решение есть. Трудное, мучительное порою. Дело ведь в том, что мы сами вольны устанавливать границы своего Саргассова моря. Мы зачастую по своему разумению обустроиваем жизнь в очерченных по своим соображениям границах....

Ночью она любит смотреть на луну, ища отражения той части Атлантики, где должно быть Саргассово море. И ей даже кажется, будто она находит едва уловимые блики и рисунок воображаемой береговой линии. Она слепнет, пытаясь взглянуть в отражение, и слезы застилают глаза, картинка размывается... Неужели мечту о большом и красивом море так просто, так элементарно сожрала действительность, в коей заросшее осокой и водя-

ным орехом озеро подменяет целое море? А ведь все началось не со зла. Все началось как игра.

...Ранняя осень. Группа студенток филфака, подобно женскому смольненскому батальону, стоявшему насмерть в то время, когда мужичье в погонах и сюртуках разбежалось, последние дни стоически морозила сопли на копке картошки в пригородном колхозе. Сентябрь в этих местах не суров, но капризен и переменчив. Оттого, спозаранку выбравшись из-под одеял, девчонки, будто серые курочки к солнышку, мелкими шажками ковыляют на кухню и, прислонившись к теплой печи, оттаивают.

Дымятся фуфаечки, однако это невеликая печаль: пошла последняя неделя трудового семестра. И вот уже страдальцам веселее, кудахчут, расправив перышки, парят носы в кружках с горячим чаем. Словом, жить можно. Уже можно.

Не заставил себя долго ждать и мужичонка на бортовом «ЗИЛе». «Насилуха» — обзывают девчонки автомобиль, на коем бестолково слепленная местными умельцами будка из неструганных досок при езде устрашающе качается, и кажется, будто вот-вот складется и придавит. Комиссар отряда, девчонка в платочке, повязанном на тему «Ухожу в монастырь», убеждающе, но не убедительно требует живее допивать суп. Вон, уже «насилуха» пылит, пора ехать на треклятое поле. Она нервически кучкует плохо организованный народ у остановки.

Шоферюга, тот еще провокатор, резко тормозит, определенно желая нагнать побольше пыли. Затем, выдержав необходимую паузу, — покуда публика вволю надышится, — выбирается на подножку. Напустив важности на красную физиономию, тычет кривым указательным пальцем в сторону припудренных пылью студенток и хрюкает:

— Как изволили почивать, красавицы?

Ожидавшие своей очереди на погрузку в «вахтовку» с ответом не задержались:

— Опя-ать порожняком проехали!..

Есть отчего негодовать — и водила негодует:

— И скажите мне, лупатые, хто нам мешаить сыграть у пинхпонх?

— Сурьезных предложений не поступат, — жалуются лупатые филологи. — Так, нетоптаны-немяты, через пять ден и съедем...

— Да как жеть не поступат-то? — возмущается мужичок.

— А так вот. Пальчик-то у тебя кривенький, поди разберись, которой из нас счастье ломится, — издеваются вполне оттаявшие девчонки.

А между тем понятно, что в пинг-понг тут играли хоть куда, по-настоящему специалистки. Просто — по условиям заговора — как бы нет ясности. Ясности как бы нет.

Мужичонка в четверть часа с ветерком доставил бригаду к месту работы, сгрузил, как заложниц, и, прощаясь до обеда, дежурно спросил:

— И хто нам моет помешать?..

— Вот помоешься-поброешься, лошок, тогда и поговорим! — довольно жестко отбрила мужичка комиссарша.

«Лошок» оказался человеком мстительным, а потому на обед девчонкам пришлось шлепать своим ходом. Кое-как добравшись до столовки, они попадали в жухлую листву у крыльца и продолжать свой трудоводвиг в этот день отказались.

Назавтра он приперся-таки на своем пылесосе, деланно сочувствовал девчуркам, даже извинялся, что-то объяснял про карбюратор. Хотя, в себе вполне уверенный, спросил и про пинг-понг.

— А как помоеетесь, поброетесь... — за всех ответила комиссарша.

— Да ежели я помоюсь да поброюсь, — с придыхом заявил водила, — я и получше найду. — Ему хотелось бы расстрелять словом этих циничных и насмешливых девчонок, но не было у него в арсенале столько патронов. Институт он не кончал.

— Экие мы игручие, — словно бы поставила диагноз комиссарша. И для чего-то добавила: — Товарищ киномеханик.

И все равно водила был доволен. Все-таки это уже был диалог. А потому вечером того же дня, когда женский батальон пытался согреться над мисками с хлебом, загоня тепло в душу на длинную ночь, он явился в столовку с сумкой пойла в стеклянных банках.

— Ой, это ж сколько сахара извели, товарищ киномеханик? — сочувствовали, недоумевали и восхищались студентки, с характерным хлопком открывая закрытые пластмассой банки. В два часа гость спойл морально неустойчивых бойцов. Было весело. И грустно. Веселье упало в душу из стакана, а грусть...

— Только не зовите меня киномехаником, — разливая плохонький самогон по стаканам, просил водила. Девчонки соглашались и обещали называть его как прежде — Коля-Клоун. Это было вреднейшее из человеческих племен, какие еще, случается, находят на Амазонке, где людей разделяют по половому признаку, да и соития надо ждать бессовестно долго: от момента, когда зрелые бананы начинают падать на землю, до начала сезона дождей.

Веселились бесшабашно, словно школьники в оставленной родителями квартире. Павлик, комиссаршин отрядный мальчик, пьяненький и слюнявый, за компанию пытался участвовать в соревновании на призы «киномеханика». За все приз — стопарик. Они пытались изобразить «тигру на тропе» — на четвереньках ползали по лавке, и в итоге Павлик уделал рабочую одежду испражнениями. Очень не здорово он выглядел, когда елозил коленками по луже... А «киномеханику» хоть бы что. Тот еще солдат.

А потом до самого утра комиссарша гуляла с Колей-Клоуном вдоль поселковых падающих заборов. И Клоун все пытался ее куда-нибудь притулить, все порывался сыграть в пинг-понг.

Если б он хоть сказал изящно: скажем, давай вон там, на траве, сыграем микст, или еще как... Или такое изящное: мол, у нас всего пара часов осталась, а хотелось бы высказаться на всю двадцатисантиметровую глубину устойчивого душевного чувства. Да мало ли как можно объяснить, чего хочется? Об этом писано-переписано! Насколько бы все было проще. А то глаголет, словно законченный лох, хамье детдомовское. С филологом все-таки разговаривает, парень от сохи... Это жлобье в институте надоело, особенно эти — с факультета физвоспитания. Интеллект на уровне индюка, слов не разобрать, только мычание, а все туда же, и побыстрее...

— Я покажу тебе фигуры высшего пилотажа, — самоуверенно обещал он.

— Зима впереди длинная — на коровнике с доярочками в сугробы полетаешь, — предрекала ему она. Ей ведь не столько кувыряться хотелось, сколько, может быть, пожалиться на то, каким убожеством на деле оказался Пашка, и что жизнь с таким строить — проще сразу удавиться. Немножко больше понга ей хотелось бы, например, поговорить про поэтов-нигилистов; про Визбора, про

Галича, наконец...

Поэтический скепсис довлел, однако не победил, поэтому уже первой ночью получилась результативная ничья. Что делать — это была единственная жизненная сфера, в коей на пару им было ну хоть сколь-нибудь уютно, знакомо и привычно. «А, ничего, дома разберусь», — она старалась не перегружать сознание.

— Ну и чудило же вы, — сообщила она прилипчивому Коляну. Сказала так... — чтобы не задавался.

— У смысле, — не понял тот.

— Это не переводится.

— Ну мы-то будем еще играть?..

— А почему бы и нет, — успокоила она его.

— А я тебя люблю, — сознался он, слегка опершись на первый слог главного слова.

— Так не бывает, — объяснила она.

В последние три дня трудового семестра его было ну чересчур много. И она уже просто не могла дожидаться дня отъезда. Тем более что «картофельный» дружок Пашка, прочувствовав ситуацию, с удовольствием переметнулся. Благо полигон необъятный: осеменяй, покуда организм не взбунтуется.

Даже в последний день, который оставила себе на баню, штопку, подготовку и прощальный банкет, и тут Клоун достал ее. Он в два счета спойл сильную половину филфака — самому-то надо много — и остальное время отдал приставанию. Ей пришлось битый час скрываться в бане, в парилке, куда вползла на четвереньках, — так отчаянно накопегарили истопники.

Но все когда-то кончается, закончился и этот кошмар. С легким сердцем она оставила опостылевшую деревню. «Проскочили», — так, посоветовавшись с собой, решила она — и будто прикрыла за собой некую воображаемую дверь. А Игруле обещала не много — отвечать на письма. «С девками поугораем».

И вот, в один из дней начала зимы, сидели они с подружкой в аудитории на самом верху и заходились от смеха, читая его эпистолы, когда «из-за плотно прикрытой двери в недавнее прошлое» вдруг прискакал гонец... Она испугалась, в панике обняла живот руками. Вот тебе и проскочили...

Как назло (и так на душе муторно), к вечеру явилось это чудило. «Приехал знакомиться с родней»... Чуть разогретый, он ощущал себя вполне комфортно, много шутовал.

Кое-как дождалась его ухода, с трудом отбили все попытки захватить плацдарм. Хотел остаться на ночь, а то, видите ли, ему до деревни по ночи ехать не в жилу. Игруля... мать твою!

Вечером судьбу «гонца из прошлого» решали уже втроем — в узком семейном кругу, так сказать. «Будем рожать или как?» — донимали старшие.

— А он у тебя, девка, шутник-с. Но привыкнешь. Бабуля моя в таких случаях говорила: мол, есть мужик — прибил бы, нет мужика — купил бы, — ерничал отец. Мама была еще лаконичнее.

— Ну что, милочка, что имеем — не храним?.. — И потом совсем жестко: — Надо бы выскоблиться, — решила ма за всех одним движением намалеванной брови.

— Почиститься бы на-а-до, — донельзя растроганная визитом и пребывая в некоей вековой задумчивости, согласилась дочь.

Но все пустое. Любопытный чертенок по имени Апочемубыинет взял верх и тут. Так сложно вести по жизни нудную счетную работу, ведь подлая фишка с названием любопытство непременно где-то под ногами. Наступив на нее, и нос расквасишь, и просто раскорячишься на обледенелой дороге жизни...

В другой раз зятек явился трезвый, и вечер «плотного знакомства» закончился его жестким: «У примачи не пойду, или я не мужик!».

Семья была плохо подготовлена к осаде, а потому на другой день к вечеру она уже пыталась растопить печь в первом собственном жилище. В той самой деревне. А ведь думала: сюда больше — ни под каким видом... Студеной

водой по утрам, холодом, пробирающим до костей ветром запомнилась деревня. И вот нате вам!

Она не была красивой. Правда, это еще ведь не фатально, здесь еще что-то возможно, а? Безнадёжно, когда говорят: некрасивая. Именно так — не деля словцо.

А впрочем, главная ее беда заключалась не в этом. Просто, по жизни они были чересчур уж разными. А она, к тому же, слишком умна, чтобы просто так, безоглядно надеяться на хорошее.

Она более всего ценит стихи новомодных поэтов.

Жанна из тех королев,

Что любят роскошь и ночь,

Только царить на земле

Ей долго не суждено...

Ну, а пока, как богиню, — на руках носят Жанну.

Все началось не со зла,

Все началось как игра...

Она и по жизни — Жанна. Правда, ей не суждено, хотя бы и ценою собственной незадавшейся жизни, как Д'Арк, остановить Столетнюю войну. Она ведь даже войны малые проигрывает и крепости сдает одну за другой.

Он же любит простую, понятную прозу. А если стих, то народный. Да он сам и есть этот самый народ. В эдаком концентрированном, сильно сгущенном варианте. А потому, когда он сильно взволнован, через эмоции, через не самое высокохудожественное его слово, как творожная масса через марлю, проступает его народное естество, где он и москаль, и хохол, и жид — все в одном, — он отчаянно, бессовестно нашеньский. И эта народность глубоко и крепко засела в нем, и лишь брызги из этой глубины летят округ. Особенно ярко видна его суть, когда в местном народном хоре он заходится, глушит первый женский вокальный ряд своим духовым инструментом непонятно какого регистра и тембра.

Лучший баритон района, — пошутил кто-то раз. Лучшим баритоном называют его, объявляя номер. И тогда глушит он зал песняком. Но, бывает, раздухарится в хоре, зайдет — и тогда своими ручищами сшибает кокошники впереди стоящих. А зритель, впервые наблюдающий хоровое действо с участием лучшего баритона района, просто скатывается с кресел — так захватывает действие.

Что так скучно,

Что так грустно

День идет не в день?

А бывало,

Распевал я,

Шапку набекрень...

В общем, она не умеет жить просто. Он же не умеет жить, как она. Я филолог, — говорит она, — а потому считаю естественным...

Просто в не самую уютную пору, когда начинает вьюжить, в этом просторном доме с новой мебелью и мудреной бытовой техникой поселились и правят бал Простодушный да брат его — Апочемубыинет. Слишком разные люди. Невозможно разные.

Были дни, когда она в два счета могла бы развязать этот узел — прервалась беременность. Ничьей вины в том не было. Но. Просто были женщина-вамп и мужчина, сильный своею простодушной добротой. При этом ее вампирской силы недоставало, чтобы высосать море его доброты. Так любил. Однако дни шли чередой, минули месяцы — и «братья» все уладили.

Всего более обидно ей, что мало жизнь меняется. Ну вот, правда, придумала она ему новую кличку, — теперь он прозывается «Покусанным». Намедни еще был просто «Чудила» или «Игруля», да угораздило его не ко времени выпить.

...Они о чем-то оживленно спорили, когда ехали в автомобиле на крестьянский рынок торговать рыбой. «Не разумею я тебя», — отмахивался он от ее нападок. А успокоения искал в быстрой езде: давил на железку, сколь давилось. Впрочем, никого не зашиб, и слава Богу. Она могла бы помочь, да не захотела, а и нужны-то были паратройка слов.

Людам в форменной одежке да с палками тоже вни-

кать было недосуг. Слово за слово, он посшибал с «ментиков» шапки с кокардами. Его выволокли из машины, долго месили, а потом еще пытались заломить руку да набросить браслеты. Младший из ментосиков особенно нервничал и все пытался вырвать из рук задержанного водительское удостоверение. Он при этом отчаянно колотил Игрулю палкой. В итоге, ослабившись, словно загнанный лис, он зубами вцепился в ту самую руку...

Он и она. Они сложно живут. Говорят, будто так вообще не бывает. Но так есть.

— Може, бьет он ее? — мучается свекровь. — Ты бы хоть побував там, — попросила она мужа. Он и побывал. Перебрался через плетень, малохоженной тропой прошаркал к дому. Оглянулся на супругу. Та отступить не разрешила.

— Однако, попроведать пришел, — доложил он занятой постирушками невестке. Она усадила родственника на табуретку под люстру и постирушку продолжила.

А впрочем, спохватившись, спросила:

— А не хотели ли бы вы, папенька, чего-либо откушать?

Он не хотел. Да какое там откушать! Он по горло сыт уже одними этими длинными, мучительными паузами, что скользки, будто итальянские макароны.

— Из Амэрики? — наконец, спросил он.

— Что?

— Этот... насисьник.

— Бюзик-то? Нет, немецкий.

— Бога-атый, — пытается он говорить коротко и только по делу.

— Да уж. Коли грудь помещается в ладони мужика, — это еще грудь. А когда более того — это уже вымя. Так что правильно сказали, папа, — насисьник.

— Ты и сама не малая. Усе при усем, — тонко заметил гость.

— Вообще говоря, большие бабы рождены для работы. Для любви — маленькие. Вот и буду тут горбатиться до могильной плиты, — нечаянно обронила она фразу. И всхлинула.

Последовала еще пауза. И вновь свекор спросил по делу:

— Сколь стоит-то?

— Что? Бюзик? Три бакса.

— Да-а, дожили. Раньше я вон своего «Жигуля» брал за рубли, а теперь даже насисьник — две тубетейки да резинка — за доллары!

— Может, вы, папенька, водочки откушать желаете?..

— Да не-е, — соврал гость...

— Вот и побував, — вздохнул он с облегчением.

Во дворе, нервничая и переживая, как там сложится общение, возился с березовой заготовкой под топорище Покусанный. Отец выхватил у него заготовку и зло заметил:

— Да-а, плотника-а, кучу б в руку насрать ото таким специалистам, — нешутейно сердился старик. Он сколько-то времени полохматил заготовку, но дело не спорилось. А потом, бросив деревяшку наземь, уселся на чурку и трясущейся рукой выхватил из кармана портсигар.

— Плотника-а, блить! С бабой сладить не могут. Аж спотел, пока говорил с собственной невесткой... Я когда тебя делал, так не потел! — признался папа. — Показать, что ли, воспитателя? — уложив пятерню во внушительное убивало, спросил он сына.

— У меня тако же, — не захотел поддержать отца тот. На том и разошлись.

Ужинали молча. Он и она.

— Положи мне вон това, — миролюбиво попросил он.

— Не положи, а наклади, — в тон ему поправила она.

— Поклажи мне вон това, — чуть обметаллил он свою просьбу.

— А и поклажу, — согласилась она.

И весь Марс из него вышел:

— Вредно тебе скандалить. Берегти себя надо. Надобно как-тось жить, — предположил он, смерив жену грустным взглядом человека, бесконечно любящего, но

при этом потерявшего надежду на взаимное чувство.

— И жить вредно, скажу я вам, и вредно не жить, — поделилась она своими соображениями о текущем моменте. Ей тоже было не слишком весело. Так что съерничала она просто по устоявшейся привычке.

— И жить — хреново, и не жить никак не можно, — попытался он развить тему или хоть что-то свое привнести в разговор.

— Кто о чем, а голый всегда... о гребле, — всхлинула она.

— Об чем это ты?

— А ты?..

Однако жизнь идет.

Во время сессионного ничегонеделания наехали в гости хохотушки-однокурсницы. Ржать готовы даже без перерыва на сон. Понятно: свободны.

Пару дней плотненько пообщались, а потом они приговорили:

— Ну и угораздило же тебя...

Но она поправила их:

— Любовь, как море: пока не заплывешь далеко, не узнаешь истинного его величия. А с краешку не море — просто много воды.

Вот и пусть думают теперь — чего хотела сказать. Выходит, когда утонут сами, тогда и узнают. Ну что же, им совсем немного осталось...

Глупые. Ну где она еще найдет столь преданное, как дворняга, коей перепало счастье регулярно получать от хозяина миску хлеба, существо? Верное и простенькое, как фуфаечка. А еще — просто любопытно, девки... Одна беда: деревня проклятая. Шаг влево, шаг вправо — приравнивают к побегу. Стреляют без предупреждения.

Она любит наблюдать за мужем, когда тот мучается, выбирая в магазине ей нижнее белье. Он может полчаса проверять качество обработки рубцов на панталонах, этом секретном оружии, повергнувшем в беспорядочное бегство не одну армию. Еще орды татар отступали через них. Он прикидывает выбранное к своим плечам: они у него одного объема с ее главным размером.

Она любит наблюдать, как он день-деньской возится с лесом-кругляком, запросто управляясь с пилой-двухручкой. За день он может навалить гору чурок.

Ее лишь песни его бесят:

Милый спрашивал любви,

Я не знала, что сказать, —

Молода любви не знала,

Ну, и жалко отказать...

Она любит его подначивать, всякий раз испытывая чувство, по энергетике близкое к оргазму. А потом с удовольствием наблюдает, как отдубасила... Тот едва дышит. Почти умирает, ревнивец.

Впрочем, в какой-то момент и этого становится мало. В известном смысле, чувственность — сильный наркотик: чем больше она подпитана, тем больше хочется назавтра. То же море: сегодня ты надышался его соленым воздухом, навалялся на песке у прибоя, — кажется, в тебе этого саккумулировано аж до потери рассудка, — но назавтра тебя снова к нему тянет.

Нередко она прикидывает: ну, ладно, пусть море. Но какое море? Мертвое? А может, какое-то из холодных? Или все-таки Саргассово?

Но потом появился меж ними с мужем некий человек, который окончательно перепутал и без того запутанное.

... Впервые Тяма попытался облапать ее, когда случилось вместе идти к сельмагу.

— Че лыбу тянешь, соседка? Мужик в поле, а ты на фраера десны сушишь... Двигай, шевели батонами — за хлебом можешь не поспеть, — подсоветовал ей Тяма.

Оптимизма у недавно «откинувшегося» довольно, и Жанну это слегка бесит: «Экий, однако, рахит жизнерадостный». Но и любопытно: все-таки новый человек в деревне, иное знание жизни. Вон, смотри, как ножонками сучит, так и скачет. А еще — какова фактура, да и новые слова. Она ведь филолог...

Впрочем, работы по специальности ей в селе не было. Здесь своих хватало. И она ждала, когда, наконец, в школе освободится место. А чтобы не высохнуть окончательно, в той же школе взялась мыть полы. Тем более что вползть в этот серпентарий, где и так училки одна ядовитей другой, ей не шибко и хотелось. Одно дело — бороться со шваброй, и совсем другое — держать круговую оборону, когда тебя перманентно норовят ужалить...

Одна беда — домой возвращаться страшно. Зима ведь. Тем более что идти надо было мимо кладбища, а она ведь натура творческая, мыслящая натура. А потому иной раз такого себе нарисует...

И вот однажды, когда во вьюжный январский вечер, кутаясь в обтерханный мутон, она брела мимо кладбища, Тяма и появился. Будто из сугроба вырос, аспид!

Ничего не говоря, не считая некоего мычания или несвязного бормотания, он снял с себя фуфайку и расстелил ее у подножия сугроба, закрывавшего оградку кладбища. Потом, опять же мыча, словно пресловутый Герасим на помещицу, он деловито обнял ее, приложился небритой щекой к ее носу — наверное, это должно было сойти за поцелуй, — и повалил на расстеленную фуфайку.

Надо ли говорить, что у нее не было дамских сил крикнуть. Сразу не было, а потом уж, когда он взобрался на нее, вообще не осталось. Но, странное дело: ей и не хотелось кричать. Первые мгновения, правда, когда он прошелся щеткой щетины по ее нежному лицу, ей хотелось засандалить ему коленкой между ног. В эти мгновения она почем свет ругала единственно своего непутевого мужа. Он, подлый, перестал встречать с работы.

— Ты не думай, я ведь в тюрьму попал случайно. А как вышел — опять человек, — наскоро справив дело, заговорил он.

Но, чудны дела твои, Господи! — ей не хотелось возражать. Она просто ощутила, что обмерзает. Инстинкт самосохранения нейтрализовал яд. А она ничего такого и не думала. Вот так вот ничего не думала и все тут.

Он рывком поднял ее на ноги, деловито отряхнул и даже попытался провожать. Но, извернувшись, она ударила ладошкой по протянутой ей руке и убежала по тропинке прочь.

«Хамье детдомовское! Упеку! Уничтожу! — строила она планы отмщения насильнику. — Обратного его в тюрьму, пусть-ка его там духарики опустят! Я, видите ли, случайно на зону попал... Все вы случайно!..»

Не будь она творческая и удивительно изобретательная натура, наверное бы и упекла. Но вот беда: она все никак не могла определиться, как же казнить-то. Все известные варианты ее не устраивали.

А время шло. Прошло, может, пять дней или даже неделя. И однажды, идя по тому же маршруту с работы, она поймала себя на том, что оглядывается, всматривается в темноту, нет ли там этого... кудесника в фуфайке.

И как только она перестала ждать, решив, что «все они такие», как в аккурат он и явился.

— Ну что, ждешь? — пробасил он из-под шапки из собаки.

— Ей достало выдержки не сделать ему выговор, мол, где это ты шарился всю неделю, морда уголовная!

Однако все равно он не стал бы слушать. Он расстелил фуфайку, и это все решило лучше всяких слов. Ах, это его крестьянско-процессуальное джентльменство... Ах, эта пахнувшая потом и дымом фуфаечка... От одного духа ее в дрожь бросает.

Потом наступила весна, и она даже стала жалеть, что теперь он мог себе позволить приходить без фуфаечки, налегке. Заканчивалась эпоха. Но, странное дело, она даже стала строить некие планы.

А мужу она теперь говорила при случае: надо уметь вовремя стелить фуфаечку. Это был некий персонифицированный вариант народной поговорки. И взгляд ее при этом делался лукаво-мстительным и немножко таинственным. Она заметно похорошела, а Колян все чаще просил купить ему «сердечных пилюль».

Помалу ее любимым кино стали совместные с Тямой

походы в магазин. Тяма заходит за нею без четверти двенадцать, и они до двенадцати — ко времени наибольшего столпотворения в магазине — передвигались в пространстве... словно плыли в гущине саргассовых водорослей. И питали, питали друг друга.

В магазине Тяма, по обыкновению, пытался без очереди взять свой «цветок жизни», и продавщица уже шла к стеллажу за бутылкой, в то время как очередь исходила ненавистью и проклятиями.

Но Тяма есть Тяма. В словесной перепалке он хорош. Это вам не Покусанный:

— Вы не читайте мне ботанику, — визжит Тяма, — и ты, чувырла, и ты, чувиха синкача... На кой мне весь этот хипеж?! Цуцу сунул — гони товар! Я ж не беру на бугая... Я честно откоптел, ни одну из вас не отхарил. И ты умойся, фафа, и ты, фан-фаныч, — Тяма нервно колобродит, глубоко спрятанными в карманы ручонками.

Продавщица подает бутылку, и уже совершенно разобраный Тяма вылетает из магазина, умащивается на высоком бетонном крыльце и рвет зубами пробку.

К моменту, когда, выстояв в очереди, она выходит на крыльцо с покупками, Тяма успокаивается и лишь недоумевает:

— Ну че вот они кидаются, а, соседка? Будто я им «поросенка» показал...

Они бредут домой, и он травит ее рассказами о «той» жизни.

— Но за что тебя на кичу-то? — пытается она дознаться.

— Да так, за ломик, — уклончиво отвечает он.

— За ломик? Какой такой ломик?

— Я тогда еще женатый был. Кузнецом работал. Ну, и женка моя повадилась с этим, с завгаром. Я и ей говорил, и ему пару раз, мол, кузнецом работаю, и все такое. А они трутся и трутся. Один раз говорю, мол, пошел в кузню, надо на боронке зубья поправить, а сам в сенях спрятался. Завгар тут как тут. И ну они кувиркаться. Я их и того — ломиком наскрозь. Обоих. Как мух навозных на иглолку доценты накалывают или этих — бабочек. Потом понял свою промашку. Надо было не говорить на суде, что де ломик тот специально приготовил, да особо художественно на горне оттянул. Так бы не «червонцем», а «петушком» все обошлось. Эх, щас бы, с моим нынешним умищем...

При этих словах Тямы у нее спина инеем покрывается...

Подойдя к дому, они с сожалением прощаются, в то время как забежавший на обед муж поглядывает в окно и искрит так, что синеют стекла.

Она, полная чувственного настроения, входит в постылый дом, бросает на стол сумку с хлебом и — к словарям. Удивляется находкам и радуется своим, очевидно, нешуточным способностям. Все правильно, в переводе на нормальный: хипеж — скандал; цветок жизни, — конечно же, водка; читать ботанику — убеждать в том, что всем известно; чувырла — некрасивая; с синкача — хромая; взять на бугая — обмануть; откоптел — отсидел; отхарить — изнасиловать; фан-фаныч — представительный; фафа — большой дурак; поросенок ... увы, — известный мужской орган.

«Ну, тут Тяма, конечно, слегка переборщил», — рассуждает она.

А за спиной посапывает обескураженный поведением возлюбленной муж.

Но муж объелся груш. Все чаще он приходит домой пьяненький. Почуввав совсем уж неладное (опять же молва-сука...), зачастил в дом и его папаша. Однако даже и обеспокоенный, нужное слово он толком сказать не умеет. А ей остается лишь слушать кряхтение старика, удаляющийся грохот кирзухи и скрип половиц под крупным мужиком. И уже за границей — то есть на крыльце — простое слово вместо резюме:

— Да-а, плотника-а, блить!

Что и говорить: плотника и столяра, коих еще поискать...

Но вот как-то забеспокоилась и она. Нет мужа на работе, нет его и на озере.

Жанна спустилась с кручи к воде, отвязала примкнутую к дереву лодку, загремела уключинами... Направила дюралевую, с деревянным днищем посудину к середине.

Как водится, спросила выгребавшего навстречу рыбака о видах на рыбалку, а потом о муже.

— С вами наловишь, как же. Перегородили все сетями, да еще орут, будто кабаны под швайкой!.. — ворчал рыбак.

Сети, поставленные мужем, затянуло тиной, они настолько закисли, что даже и ткнувшаяся в окно дели рыбица свободно сходит, едва отработав назад хвостом. Караси падают в воду, стоит Жанне лишь потянуть сеть за балберы. Кроме того, щуки и караси, кои в сети все же запутались, погибли, сварились. Из вредности, а еще из желания присовокупить вонючую действительность к обвинительному акту, она протаскивает рыбу через ячею, местами разрывая тухлятину на гадкие скользкие куски, при этом явно щадя жилку сетей.

Она и сама не заметила, как стала частью природы, частью действия, развернувшегося на ограниченном пространстве между домом, сараем, где колготятся свинухи и бычок, и этим озером. Здесь сети снимаются лишь для чистки от водорослей и вновь возвращаются на тальниковые колья. И, когда мужу некогда, она выбирает из сетей рыбу и даже иногда чистит их от травы.

Выпутывая живых карасей, долго и некрасиво ругаясь, на самом краю сетенки она ввязалась в борьбу с соменком в четверть пуда. Осклизлый долго не давался, делал хвостом крюк и пытался использовать любую возможность — борт, руку рыбачки, шнур самой сети, чтобы вырваться, освободиться от пут. Злая на весь белый свет, на мощном выбросе адреналина, она затащила головастую тварь в лодку и принялась неистово дубасить соменка лопатой деревянного весла. Было крайне неудобно, весло железками цеплялось за борта, она и сама чуть было не вывалилась из лодки. И тогда она, бросив весло на дно лодки, уже сорванным с ноги сандалием добила рыбину; соменок затих.

Она и сама не знает, не может определиться, откуда в ней взялись эта суетливость и хватка рыбачки. И эти мужицкие упрямство и злобность. А еще — рыбацкое любопытство, что правит ею на воде. А иногда и просто ... помыкает ею. Странно все это. Как можно такое объяснить?

И она ловит себя на том, что именно необъяснимость факта и удерживает ее в этом зачуханном сельце. Где уже давно постылы и муж, и его родственнички, кои и в праздники, и не в праздники — тут, и просто по случаю приходят в дом вымогать водку; постыл и сам дом...

Вентери заилились. Слизь покрыла и рогатулины, растягивающие вывязанный в крупную ячею мешок, и кульки со жмыхом. Брезгуя и отвернувшись, она освобождает кульки от корма, вываливает в воду давно закисшую вонючую кашу.

И тут слышится голос мужа. Совсем рядом — в тальнике, на другом берегу. Там Покусанный что-то пытается доказать Тяме. Голос его подсел, и он к тому же крепко пьян.

— Мы у в армии двадцатиместную палатку утрех ставили, — убеждал он Тяму и других компаньонов голосом с нехарактерной для него мокротцой.

— Ты здесь не ломай проблемы, — отбивался Тяма.

— Я сам по фене-то не ботаю, зато по харе заехать для меня — пять секунд, — объявил Покусанный.

Поскольку она не знала в этот момент, кого ей следовало бы успокаивать раньше, за кого заступаться, она и покинула берег, оставшись незамеченной для компании, расположившейся на берегу в тальнике.

Ночью Жанна долго не могла уговорить себя уснуть. Некоторое время она изучала потолок. Но сколько уже можно? — смотрено-пересмотрено... И она встала погреть на кухне посудой. Однако ни чай с тарочками, ни борщ ее не успокоили.

Далеко за полночь явился благоверный. В чем был, он повалился на кровать, благо их аэродром всегда принимает: тут хватило бы места на всю компанию вместе с Тямой. Несколько погодя муж попытался положить руку на возлежащую около супругу, однако та брезгливым и истеричным движением ее сбросила. Что-то хрюкнув себе под нос, он отвалился и отдался сну без остатка.

Ей так хотелось оттянуться, отхлестать припасенными словами это... безобразное мурло, это ничтожество, это... Уничтожить, раздавить, расстрелять! Но куда стрелять — он и так без малого труп.

Ее душа еще некоторое время металась, желания никак не смыкались с возможностями, и понемногу пришлось успокоиться. Но что тут поделаешь, коли они люди столь разные? Что делать, к примеру, коли он не умеет, без содрогания собственных основ, представить себе, что некий ухахь влажной и холодной своей рукой будет мять белый хлеб ее такого желанного тела. Что делать, если он может себе это представить столь реально, что при этом от напряжения даже росинки пота выступают на его физиономии. Что делать, если... Что делать? — извечный русский вопрос. С кем поделиться сокровенным? — сакраментальный женский вопрос.

И она рассказывает об обретенной печали приключенной к полке книжного стеллажа репродукции — портрету легендарного грека, изобретателя собственного имени СОКРАТИЧЕСКОГО метода отыскания истины путем постановки наводящих вопросов.

Уже за четыре сотни лет до новой эры признанный умнейшим из афинян, теперь жмурится под отчаянно злыми лучами неоновой лампы, пробивающей неплотную ткань портьеры на двери в кухню. И вот Жанна рассказывает Мастеру, и тот рассказывает ей.

— Оказывается, — делится своими соображениями Сократ, — Земля держится на трех китах...

— Знаю, — перебивает Жанна, — это Любовь, Ненависть и Любопытство.

— Непременно хорошо должен жить тот народ, у кого женщины столь мудры, — заметил философ. — В мое время, а это был золотой век Афин, среди вашей сестры тоже ведь случались умницы. Между тем главные партии всегда у нас вели мужики. Как-то так обычно получалось...

— Знаю-знаю, — перебивает Жанна, — Перикл, Софокл, Фидий — имена всем известные...

— Да окстись же ты, наконец, баба! — раздражается Учитель. — Только теперь понимаю: золотой век Афин оттого и оказался столь короток, что бабы все заболтали. Ох уж эта вольница, нельзя так много бабам позволять...

Ей даже показалось, будто Сократ и не Сократ вовсе, а папенька ее новоиспеченный. Но потом «настоящий Сократ» возвращается, и они какое-то время общаются: «И не в ранней смерти великого стратега Перикла дело, и не Спарта с ее союзниками есть причина упадка... Да разве Софокл написал бы свою гениальную «Антигону», разве отец трагедий Эсхил, проповедник суровой бодрости, придумал бы Прометея, а Фидий реализовал бы свою великую мечту о Парфеноне, коли б беспрестанно умничающая женщина жужжала бы над ухом великого, подобно надоедливой мухе?»

— Но ведь добродетель есть знание или мудрость. Да вы сами об этом писали...

— Но я же не мог себе представить, что все так далеко зайдет... И потом ведь, всякой самой паршивой собаке в Афинах известно, что я свои учения излагал исключительно в устной форме. Это чертовы прохиндеи — ученики мои — все перепутали, дабы разделить ответственность за собственную безответственность перед будущим вместе со своим учителем и самим при этом хоть сколько-то вознестись.

С этими словами, в свое время обвиненный в поклонении иным божествам и приговоренный к смерти «за разращение молодежи», философ повернулся к женщине спиной. Нет, задом повернулся... Поэтому Жанне, подвер-

гнутой жесткой обструкции, только и осталось, что изучать рисунки на потолке.

Ну что же, потолок — чем не море? Это ведь огромное пространство, у коего нет берегов, как у Саргассова моря. Весь вопрос в правильном выборе угла зрения. Потолок запросто перетекает в небо... Как настроишься.

Саргассово море. Его границы — потоки теплых океанских течений. Море это спокойное и глубокое. Даже зимой оно остается теплым, и вода столь же прозрачна, как байкальская. Там обитает несметное число всевозможной яркой и пестрой живности, а черепахи плавают... с хорошей стол величиной. Там близняшки — коралловая и королевская змеи — всплывают к поверхности, чтобы глотнуть воздуха. Отсюда отправляются в трехлетний путь на родину — в реки Европы — пресноводные угри, чтобы через десять лет вернуться назад, в соленый рай, и решить вопрос о потомстве.

Всем замечателен этот райский уголок... Да вот только расположен в самом центре печально знаменитого «Бермудского треугольника», где, как известно, можно бесследно исчезнуть по неизвестным науке причинам. А потому там на дне тесно от остовов затонувших кораблей и упавших самолетов, притягиваемых невиданной и неведомой внутренней силой моря.

Это море можно было бы считать величайшим из морей... если бы оно имело реальные берега.

«Зачем в тебе, о женщина, так развито любопытство? Зачем тебе эти глубина и море? — как бы говорит спина погрузневшего Учителя. — Да разве можно столько нести одному человеку? И того страшнее, что женщине?!».

«Ну что там... — Жанна даже слегка зарделась. — Просто я ведь филолог», — сообщила она Мастеру.

Однако жаль. Поговорили бы еще, да в своем углу кровати стал барахтаться чумазый мужик. В простынях запутался. Очевидно, проснулся, да виду старается не показывать.

Жанна спиной уперлась в изголовье кровати, в жесткую, полированное дерева спинку, чуть поднапряглась — и ногой столкнула мужика на пол. Тот от удара и неожиданности крякнул, однако на полчаса затих.

Но ему надоело-таки изображать спящего. Он настоженно, дабы не провоцировать ее действие, приподнялся на локтях до уровня их сексодрома и, ослабившись, сообщил:

— Тяма втоп...

— Что-о? — не могла сообразить сразу Жанна. Она даже растерялась, столь неожиданно дерзким показался ей акт «этого» молвить слово.

— Я говорю — Тяма утоп.

— Где?... — Трудно доходила новость до ее сознания, перегруженного вещами утонченного характера, хоть она пыталась увязать одно с другим...

— Где-где... Где-то в озере. Темно было, не побачив, где. Через неделю всплывет, там и увидим, где.

— Как это случилось? Зачем?... Говори!

— Да че говорить-то? — пытался он ее успокоить. — Утоп и утоп. Главное — участковый не шибко осерчает: промез их все одно пониманию не было.

— Так ведь человек же! — вскинулась Жанна, открытая система. — Надо что-то делать...

— Брось читать ботанику, — кинул реплику муж. — Все когда-то утопнем.

Повисло молчание, он не терпел этого, а потому первым сделал попытку к сближению. Он пожаловался:

— А у мене ухо болить. Должно, в воде накувыркался с этим... А на берегу, пока отдыхивался, и случилось. Застудил, а?

— Да мастырки это все! — даже и не подумала посочувствовать жена.

— Че?

— Членовредительство, говорю. С целью уклонения от работ.

Нет, она его совсем не пожалела. И впрямь какая-то жизнь подводная. Ах, как ей к лицу ломать плотную субстанцию его панциря! Она просто на глазах преображается.

Поэтому муж где-то там на полу перевернулся на другой бок, осторожно стянул с кровати подушку и, похоже, недурно устроившись, уже через пару минут ровненько засопел.

... Какая длинная ночь... Хотя, трубачи зари — петухи — припали к мундштукам своих труб и вовсю сигналият...

«Ну вот, — решает она для себя главное, — Сократ здесь не помощник. Просто есть мы, и это наше Саргассово море».

## ОСТРОЕ ЧУВСТВО

— Можно, я к тебе немного попростаю?.. — лежа в постели, начал утренний разговор Петрович.

— Ы-ы-ы... — сонно ответила ему жена.

— Ну просто хочется чего-нибудь остренького, — не очень экспансивно, словно бы не веря в успех, продолжал осаду крепости Петрович.

— Остренького ему!.. — начала просыпаться жена. — Поди возьми на кухне нож и уколись.

Неприступная, как Бастилия, жена еще что-то буркнула, вроде «изыди», и вновь провалилась в сон.

— Утром не трогай, вечером не трогай... А когда?! — против воли вырвалось из глубин души Петровича сакраментальное.

— Ла-а-адно, — решительно отбрасывая одеяло и вставая, нажимал в голосе Петрович. — Нынче тебе не Восьмое марта, а тридцатое апреля. И праздник — на моей улице.

— ...Паразитируем! — негодовал он на кухне, гремя кастрюлями. — Жрать нету, а она разлеглась! Будто не в деревне живем. Где барабуля, где грибочки да огурцы?!

Он сначала паразитировал над скукоженным в холодном желе окорочком, поточил зубы о кости. Затем долго вылавливал в стеклянной банке огурец, покуда, юркнув по скользкой клеенке, банка не навернулась со стола.

— У меня двухлитровых и так не осталось! — возопила в спальне жена.

Однако Петрович в эту минуту ее не боялся: ему казалось, нынешним утром его гнев был значительно праведнее. А посему он спокойно навел добрую бадейку чайку. Сахарок сыпал в посудину от плеча, а потом воткнул ложку в едва подкрашенное испитой заваркой пойло и там несколько раз ею провернул.

Выйдя на крыльцо, Петрович пустил длинную, насколько хватило компрессии, струю. Как всегда, получилось аккуратно на собачью будку. Роса стекла по ржавому железу крыши собачьего дома. «Ну и приду-урок!» — обидевшись, гавкнул Смирный. Затем зевнул во всю собачью пасть, глянул недобро на хозяина и сглотнул слюну.

Петрович бросил псу кость, тот сосредоточенно захрустел ею.

Петухи еще не отпели, день только занимался, и Петрович, облокотясь на заваливающийся забор, захотел посмотреть, чего там делает деревня. Деревня помалу просыпалась.

По улице, петляя между луж и комьев грязи, шел Кащей. «Ко мне?» — жестом спросил Петрович. «К тебе», — утвердительно кивнул Кащей, с трудом перемещая огромное рыхлое тело по уличному неудобью.

Счастья по поводу раннего визита соседа Петрович не выказал, было очевидно — Кащей ищет, где бы хапнуть стаканягу.

— Петрович, чего-то у меня с самого Вербного такая тяжесть в кишках. Может, у тебя что из лекарства есть, язвочку припечь? — заскулил Кащей, подойдя ближе.

— Сегодня до самого вечера нельзя, нынче ведь в

Она положила руку на живот, как бы успокаивая того, кто там, внутри, разговаривает языком жестов — заворочался... «Ну вот, в бригаде плотников скоро случится прибавка. Вон как обушком топора сигналиит! А может, Тяма получится. Случай не простой... Плотника-а-а...», — долгим выдохом гонит она не лучшую свою мысль, она — человек, с этой жизнью не согласный и разругавшийся напроочь.

поле. Блюсти себя надо. Я вон и на жену не стал залазить. Чуть не убила — так я не давался. Не баба, а зверь!

— Тебе хорошо, ты вчера наблюлся так, что погрузчиком с машины сгружали. Тебе ресурсу до вечера хватит. А мне надо.

— Где сегодня на зорьку садишься? — без демонстрации жалости к соседу резко сменил тему Петрович.

— На Амуре, где же еще. На нашем месте. Говорят, гусей на косах, как комаров по лету. Вот тебе и поздняя весна. Да жи-ирные! Летят, аж сало с них капает. Тебе как раз: втирать в плешивую башку — очень росту волос способствует! — съерничал Кащей.

— Ладно. За что водку брать будем, то есть как будем охотиться? Может, как в прошлом годе?

— Выходит, как в прошлом.

Кащей отправился домой, но вскоре вернулся, невероятным образом выгнувшись и выплясывая под мешком, доверху набитым зерном.

— Зови свою! — прохрипел Кащей, сваливая мешок на крашеное крыльцо.

Петрович сходил в дом и вскоре вернулся, но уже вместе с женой.

— Ну, не знаю. Ты как хочешь, конечно, а я бы не брал зерно. Докормим до нового урожая скотину и так. Денег и так ни на хлеб, ни на сахар нету, — старался убедительнее аргументировать Петрович.

— А то я тебя, козла гулящего, спрашивать буду! Тебе, что ли, курей кормить? У тебя ни за че голова не болит, только бы шары с ранья залить!

— Ну ладно тебе гавкать при людях... — ударил на последнем слог Петрович.

Получив деньги, Кащей поспешил скорее убраться прочь. Жена Петровича — известная гроза авторитетов. «Ей словом отхарить, — объясняет Петрович, — как мне куренку голову отнять».

— Ладно, у меня сегодня короткий день. С обеда займемся поросятами. Выложить надо, — распорядилась жена, уходя на работу.

Петрович, дождавшись, когда за ушедшей по улице супругой уляжется пыль, подхватил мешок с зерном и понес его через улицу.

— Кащей, зови свою!

— Ну, не знаю... Петрович вот зерно продает. Как хочешь, конечно, но я бы не брал. На сахар бабок не хватает, — заныл Кащей.

... Сложив купюру вчетверо, Петрович сунул ее во внутренний карман.

— И какая выходит арифметика? — спросил один.

— Известная: водкой пять бутылок, самогонкой восемь, — ответил другой.

— Восемь — лучше, — заметил Кащей.

— Базару нет, — согласился Петрович.

Жена пришла с работы в обед. Одного за другим затолкали поросят в бочку и лишили их орудия воспроизводства. Довольная, что все быстро и ладно устроилось, жена приказала Петровичу истопить баньку. Петрович не прекословил.

— Ладно, ладно, не тужи... — сомлевшая после прожарки в баньке, жена с негой в голосе пообещала: — Будет тебе сегодня остренькое. Острее кетчупа «Чили»...  
— У тебя есть кетчуп «Чили»? — по телефону спросил у соседа Петрович. — Возьми.

— Все остренькое берем с собой, — загадочно проговорил сосредоточенный, всецело занятый своими мыслями Петрович.

— Какой же ты, однако, с самого утра нынче игривый, — по-своему поняла жена мужа.

В назначенный час Петрович юркнул в прогревающуюся по другую сторону дороги машину Кащей и был таков.

— А как же остренькое?! — возмутилась прозревшая супруга.

«Остренькое — в рюкзаке!» — жестами дал ей знать Петрович.

А Смирный стал биться на цепи так, что разогнул проволоку, соединяющую звенья, и, махнув через забор, устремился вслед за удаляющейся машиной. На окраине села он настиг ее и был впущен внутрь.

— Ладно, с полем, что ли? — провозгласил Кащей, одной рукой держа баранку, а другой — пластмассовый стакан. Влага выплескивалась из посуды — аккуратно выехали на грунтовую дорогу, и руль плохо слушался.

— Ты бы уж остановился, что ли... — подсоветовал Петрович.

— Надо быстрее, чтоб место забить, — ответил Кащей.

Место забили достойное. Однако народ все подваливал и подваливал, и на берегу стало тесновато.

За хлопотами не заметили, как наступила вечерняя зорька. Пернатая живность принялась носиться над полями и еще стылым руслом реки. Особенно нетерпеливые до срока кое-где начали постреливать. «Тра-та-та-та!» — оттянул кто-то у самой проволоки из карабина. «Пу-ухх! пу-ухх! пу-ухх!» — отметилась серией выстрелов длинноствольная пятизарядка. «Пук!» — скромно подключился тридцать второй калибр.

## НЕВЕЗУХА

День у Борьки явно не задался. С утра пришел «поезд» — несколько машин из госпромхоза, и теперь начальник там, в покосившейся стойбеной палатке эвенков, вместе со сводным старшим братом Борьки и его отцом сортировал шкурки. Старик торговался, как водится, однако же и не слишком задиристо и нахально. Старший охотовед госпромхоза — мужик опытный, сам соболятник, а потому не столь спорили за дело, сколь, что называется, общались.

Борька несколько раз пытался пробраться в палатку, однако всякий раз безуспешно. Если отец по этому поводу не нервничал, то брат просто издевался над Борькой, всякий раз шумно выбрасывая его из палатки. Причем с каждой попыткой Борьки пробраться внутрь водочный дух брата становился все гуще и гуще. Крепко же они там втроем выпивали. Да как же иначе! В этом отношении отец строг. Если бы купцы из госпромхоза вздумали приехать в стойбище без водочки, старый просто не пустил бы их за порог. Традиция есть традиция. «Нечего нарушать устоявшийся порядок, я же не перестал ловить собольков», — рассуждает старый.

Так рассуждает всякий в стойбище. Но вот этот брат, это дерьмо сокжоя, просто измывается над ним, Борькой. Ведь нынче Борька куда больше поймал собольков. И колонков и норок у него, Борьки, больше. И потом, именно ему, самому молодому в стойбище охотнику, до-

— Начало-о-ось... — растянувшись на берегу во весь рост, занял раскрасневшийся Кащей.

— Ты бы хоть травы насобирал да подстелил, протянет ведь, — сделал замечание Петрович.

— Я те че, ботаник, что ли? — отмахнулся Кащей. — Сам бы лучше сходил да хоть какую утешку на уху сшиб. Консерву всю сожрали.

— А я, по-моему, и ружья-то не взял.

— Как в прошлом году?

— Ага. Как в прошлом году.

— Да и я как-то патроны не те захватил. Ладно, схожу у мужиков займу хоть пяток. Только ты тут без меня новую не начинай.

Кащей доковылял на своих больных ногах до соседнего табора и быстро, почти бегом вернулся.

— Вот, дали два с пулей и два с картечью. Пойдешь?

— Ага, как раз на бекаса и пойду! — съерничал Петрович и икнул.

Соседи-товарищи кое-как развели костерок. Он сразу хорошо так занялся, однако быстро скис. Дрова оказались сырыми. Но соседи говорили и говорили. Почитай что год не общались столь плотно. А тут все располагало к беседе обстоятельной, толковой и глубокой: и природа, и суета охотничья, и эти беспрестанно снующие над полем чирки... Впрочем, самые серьезные, капитальные темы пошли аккуратно после полуночи.

— Будет Ельцину импичман или нет? — сурово глядя на соседа, спросил один.

— Никакого пичмана не будет! — твердо заявил другой.

— Ладно. Если не будет, то, выходит, уже до Нового года будет снижение цены на водку. Говорят, и чище станет. Монополия государства будет. Ну его, тот пичман.

— А голова Всемирного валютного фонда молодец. Сказал: хрен вам, а не бабки, — и выдержуит характер... Старый конь борозды не спортит.

— Да-а. Чем старше бык, тем тверже рог...

велось взять загнанного лося. Это из им добытого лося жрет сейчас кукуру старший брат, закусывая водку от щедрот начальника!

Борьке хотелось не столько водочки откусать, сколько, может быть, пообщаться с начальником, расспросить, как там в Майском дела. Спросить, наконец, работает ли еще там молодая красивая учительница Катерина... Да нет, наверное, съехала, забрал ее с собой в город какой-нибудь сохатый. Таким красивым, вообще-то, не место в таежном поселке.

Между тем Борька частенько вспоминает ее. В последний раз они, подвыпив, подрались с братом именно из-за нее. Брат ненадолго съездил в Майский и по приезде похвастал: мол, да, гулял в поселке с Катериной и даже, чего греха таить, имел ее. Брешет, вонючий собака!

Борька, еще немного потоптавшись у входа в палатку, предпринял новую попытку пробраться внутрь, законно рассчитывая, что вконец захмелевший брат, размякнув от выпитого, больше не станет выпендриваться. Однако брат набросился на него, словно колонок на полевку, хорошенько наподдал и в очередной раз выбросил из палатки.

Терпение Борьки лопнуло. Кажется, сейчас он запросто убил бы брата, зарезал. Он даже потрогал болтавшийся на поясе нож, который не снимает, даже ложась спать. А потом... Это было совершенно безотчетно: ка-

жется, руки делали это, не сообразуясь с тем, что прикажет голова. Борька просто подошел к тому месту, где, предположительно, сидел в палатке брат, и, едва примерившись, воткнул жало ножа в ткань палатки... Попал удивительно удачно.

Брат, воя и скуля от боли, оставляя за собой заметный кровавый след, совершенно сатанински ругаясь (обещание порвать на куски было не самым, казалось, злобным), поковылял в зимовье ложиться под бинты супруги. В то же самое время Борька, спасаясь от отца, гнавшегося за ним с лиственной палкой, удирал прочь.

Когда биение сердца чуть притихло и вернулась рассудочность, Борька решил, что лучше бы ему на месячишко из стойбища убраться. Но как уйти в тайгу без «тозовки», лыж и собаки? Тайга все-таки. А потому, когда уже смеркалось, он пробрался к избушке, снял с гвоздика мелкашку. Стараясь не шуметь, взял приставленные к стене зимовья лыжи и, кликнув Белку, шагнул от избушки в сумерки. Собака всегда готова следовать за Борькой, потому без звука, но и без какой бы то ни было эйфории последовала за ним. И вот уже мерно качающийся в такт бегу хвост лайки замелькал впереди.

Честно признаться, куда Борька шел первую половину ночи, он и сам не знал. Просто шел. То, что он шел без мысли, без плана действий, ему не нравилось, это было ему непривычно и даже противно. Обычно, если он шел куда-то, то шел конкретно, зря обувь не топтал. То есть если по путику, то по путику. Где-то он позволял себе путь срезать, однако где чувствовал, что может быть удача, он всегда там был.

В любом случае у него в капканах собольки не валялись, покуда мыши их не постригут, как это случалось у брата. Если он скрадывал зверя, значит, он скрадывал зверя. Тогда он мог сутки шагать, делать необходимое, чтобы совсем неглупый зверь не тревожился раньше времени. Брат и сам в минуты откровения не раз говорил: ему, мол, Борьке, зверь сам в руки идет. Да не идет он сам...

Лес принял Борьку. И хотя листвянки в ночи угрюмились, молодой охотник знал: это кажущееся. Лес принял его, не притих и не замер. Он звенит ночной тишиной. И он вообще добрее и выше всей этой напускной кажущейся строгости.

Борька остановился у выворотня, скоренько сподобил костерок и, достав из кармана кусок кукуры, глядя на огонь, принялся медленно жевать. Голод уже дал о себе знать, однако ничего, кроме этого небольшого куска, у него не было. Он понял и оценил суету Белки, наострившей уши и вздыбившей хвост «на мясо». Однако этой ночью молодому охотнику делиться с верной псюхой было никак нельзя. Что там день завтрашний готовит?

— Завтра вместе жрать добудем, вместе и поедим, — как мог, объяснил ситуацию Борька. Кажется, Белка поняла его. Она всегда его понимала. Понимала удивительно. Иногда, слегка подвыпив, он приставал к ней:

— Ну, скажи что-нибудь, Белка, скажи! Скажи: «винтовка». Нет, это слово длинное. Ну тогда скажи: «мясо»!..

Белка виляла хвостом, вроде извиняясь и силясь что-то сказать, однако говорить все же отказывалась.

Как бы то ни было, рассвет они с Белкой встретили без тревог. У Борьки вообще два верных друга. Верных по-настоящему. Первый — Белка. Второй — тайга. А впрочем, тайга — тоже первый друг.

Однако, прислушавшись к легкому шуму тайги, Борька вдруг выхватил в этом вечном мерном звуке звук посторонний, будто бы кто-то стучал по металлу. И это — в медвежьем углу тайги! Он даже ущипнул себя за ухо.

— Э-э-э, совсем слушать не хочешь, совсем неправильно слушаешь. Хозяин не старый еще, трудись нормально! — мирно, без нажима, уговаривал молодой охотник ухо. Но нет — «лишний» звук повторился еще и еще раз. Вернее будет сказать, это боковой ветер то приносил его, то уносил прочь. Точно — словно стучат чем-то по металлу.

Борька пошел на звук. Но раньше — Белка.

Для молодого эвенка это была непривычная картина. Конечно, тайга бесконечно, бессовестно изрезана дорогами, и редкий марш по ней сделаешь, где-то не уткнувшись в просеку или дорогу. Но такое...

На дороге посередине поляны стоит «ГАЗ-66», внизу — мужик, который только-только растянул меха гармошки, и звук потек по ложинам тайги. А наверху, на кабине, стоит еще один мужик, в тельняшке и камуфляжных штанах, и выбивает каблуками сапог замысловатую дробь. Охотники музицируют, они довольны, что наконец-то оставили вонючий город, охотники рады встрече с тайгой; наконец, у охотников еще много водки! Борька сразу же узнал их — знаменитую охотничью бригаду Черноусова, известную своей удачливостью, однако больше — легендарными похождениями. Борька, конечно, узнал этот бесшабашный народ, изредка гостевавший в стойбище. И они узнали его.

— Охотиться надо, наверно. День хороший, мороз мало, — вместо приветствия проговорил молодой эвенк.

— Какая охота, Боря? Посмотри, сколько у нас еще водки! Зверя всегда успеем взять. А и не возьмем, ты на шурпу дашь, и ладно, — объявил программу Черноусов.

Борьку пригласили в кузов, в обитую железом деревянную будку, «позавтракать». В углу будки стояла железная печурка, дававшая необыкновенный жар, так что Борька в своей, пусть и легкой одежке, сразу же взопрел. Он скинул верхнюю одежду и постарался присесть на лавочку подальше от печурки.

Черноусов налил эвенку из канистры спирту, а из другой разбавил его водой.

— Ну и мороз сегодня, Борька! Градусов тридцать пять будет?

— Так будет, наверно.

— За мороз!

Едва закусив, молодой охотник тут же был принужден опрокинуть в себя новую порцию пойла.

— За тайгу!

— Мынога будет! — покосившись на вместительную канистру, проговорил гость.

— Какое там много, Борька! До вечера бы хватило, пока следочек сохатого не зацепили!

— След видел, — с достоинством поведал Борька. — Помогу, — добавил он, добрая и бесконечно благодарная душа.

Но очень скоро жара и «шило» сморили его. Он ведь не спал ночь. Борька повалился на матрас, лежавший на нарах, и задремал. Уже забывшись, он-таки расслышал некоторые детали разговора за столом:

— Слабые ихние мужики на водку.

— А бабы — на «передок», — добавил кто-то.

У довольно вспльчивого Борьки не достало даже сил жестко вступить за свой народ. Он потянулся было к ножу, однако рука не захотела подчиниться ему. А ведь обычно навета он не спускал никому. «Действительно — слабый на водку...» — с сожалением согласился Борька и «умер».

Проснулся он от удушья. Совершенно бестолково и судорожно его пытались растолкать, а потом — вытащить за ноги из будки.

От горячей печи воспламенился матрас. Борька увидел и понял это как раз в тот момент, когда Черноусов принялся поливать матрас из канистры. Однако все еще пьяный Черноусов канистры перепутал и гасил пламя спиртом, покуда оно не объело весь матрас. Только тогда опомнились. Выбросили на землю матрас и забросали его снегом.

В итоге, глядя на разоренное гнездо, напроць закопченную будку, Черноусов глубокомысленно изрек:

— Это водка проклятая демобилизовала организм...

— Не-е, просто мы не так пили! — поправил кто-то Черноусова. И трое охотников полезли в кабину мобилизовать организм. В канистре еще что-то колыхалось.

Борьке ничего не оставалось, как лезть в будку и каким-то образом осваивать территорию. Освоил. Он рас-

топил печь по новой и улегся вдыхать угарный газ. Пару раз его приглашали в кабину. Он не отказывался, только в кабине и втроем-то тесно... Хотя поило как-то его отвлекало от мыслей о семье, об отце, о брате, о поступке.

Время пролетело быстро, январский день исчерпал себя как бы в три прыжка: пожар, первый прием спиртного, второй... Где-то в полночь мужики в кабине зашевелились и гурьбой повалили наружу справить малую нужду. Борька, чуть помедлив, тоже решил сводить распаренное тело на двор. Он хотел было с борта, но постеснялся: скажут, мол, совсем культуры у него нет, а посему прыгнул на снег в чем был — в рубашке, штанах и унтах. Какое-то время, успокаивая качку тела, он все не знал, куда примоститься. Колесо облить — все равно что осквернить технику. Технику он уважает. Он облил ближнюю листвянку. Белка облила снег рядом.

Тем временем машина сделала три предупредительных или призывных выхлопа трубой, Черноусов «ударил по коробке», и машина покатила...

Некоторое время Борька пытался за машиной бежать. К этому действию его призывала и Белка, все время забегавшая вперед и с укоризною поглядывавшая на бестолкового хозяина. Однако в итоге молодой звенк оставил эту затею, разумно решив, что оттого что он убьется, догоняя укативший автомобиль, и взмокнет еще больше, шансов выжить у него и вовсе не останется.

Он остановился у выворотня и, наломав сухих веточек, тонких сухостойнок, попытался обогреться у костерка. Сколько еще ему предстояло так бедовать — всецело зависело от банды Черноусова.

Между тем Черноусов, прикатив на машине к зимовью, расположился компанией на ночлег. Он упал на нары и блаженно вытянул ноги.

— Все, я щас вам не «бугор», думайте за жизнь сами,

## СУНДУЧЬЯ ОХОТА

Давно, еще в тринадцатом веке, в маленьком германском городке, в коем жили и правили сытые бюргеры, случилось нашествие крыс. Поначалу борьба с этим бедствием шла с переменным успехом. Но потом грызуны стали одолевать. И тогда бюргеры бросили клич: вознаградим всякого, кто порадеет за наше спокойствие.

Не сразу, однако пришел в город некий человек и сказал, что поможет беде. Был он неприятного и даже отвратного виду, и внешность его могла навести на размышления... Если бы горожане не были столь озабочены, они бы поняли, что перед ними дьявол. Однако им было не до размышлений. Тем более что просил пришелец золота не более того, что сможет унести. Вроде и не много за такую-то услугу, — решили бюргеры и согласились.

Тогда человек заиграл на старинной медной дудочке, и его музыка возымела немедленное действие. Крысы последовали за обладателем чудного инструмента. А тот привел их к реке, сел в лодку и отчалил. Ну, а крысы все шли и шли на звук дудочки... И не могли остановиться.

Бюргеры не были бы оными, если бы не обманули своего спасителя. Вместо золота они сунули ему кошель с серебряными монетами. Да и то после долгой торговли.

Человек ушел. Но в один из следующих дней вернулся, заиграл на своей дудочке разные веселые мелодии, и все дети городка последовали за ним. Больше их не видели.

Такая вот легенда. А мораль проста: за все содеянное неминуемо приходится сполна платить.

... Вечером, накануне выхода в море кораблей Камчатской военно-морской флотилии, мимо КПП по пирсу к «коробкам» гуськом движутся сгорбленные силуэты. То

рассупонивайте машину, несите канистру.

Назначенный все это исполнить взбрыкнул, однако пошел к машине за канистрой. Вернулся он и вовсе озадаченным. На дне канистры едва хлюпало. Некоторое время они решали, звать ли звенка. Но потом решили не звать. Разлили и опрокинули.

— За мороз! — поднял посудину Черноусов.

— За мороз вроде уже пили, — засомневался товарищ.

— То пили за тридцать пять. А щас не меньше как «сороковник». За мороз!

Однако что-то осталось в канистре и для Борьки. Черноусов сам решил позвать его.

... Обняв бедную животину, у выворотня Борька прощался с жизнью. Белка не сопротивлялась, Белка понимала. Только говорить все никак не хотела. Однако в какой-то момент парню показалось — силится что-то сказать.

— Да-да, согласен, — зашептал молодой звенк собаке в ухо, — я был не очень-то и прав, когда сделал брату дырку в заднице. И перед отцом я виноват, и перед матерью...

Борька в эти минуты был готов покаяться во всем. Да и обряд требует уходить из этого мира чистым. В противном случае в той жизни, в новой, он станет не оленем, изюбром или собакой, как бывает у хороших людей, а вонючей росомахой или там...

— ... Или моим братом... — на последнем выдохе проговорил охотник, пытаясь глядеть собаке прямо в глаза. Он все еще рассчитывал, что Белка сможет донести до брата главное. Ведь должна же она наконец заговорить. Хотя бы затем, чтобы сказать главное. Не может, не имеет права молчать Белка...

Когда фары «газика» уткнулись в сидящего у дороги Борьку, он почти что уже и не жил.

мичманы под полой плащей несут свои «тулки», «ижевки» и «зауэры».

Уже заправились на недолгий поход корабли водой и топливом, уже загружен боезапас, уже отдыхает перед завтрашним выходом в море личный состав. И только слышно, как вахтенные у трапа, кутаясь в брезентовые балахоны, пытаясь изобразить отдавание чести ступающим по трапам, переговариваются меж собой.

— А я из-за «сундука» и не тревожил бы дежурного. Это же не люди. Правильно говорят: лучше иметь дочь проститутку, чем сына мичмана, — гундосит засопливевший вахтенный.

— Дак ото ж, — соглашается вахтенный с соседнего корабля.

Но вот последний из опоздавших мичманов поднимается по трапу, неся на плече укутанное в тряпку пятизарядное ружье. В другой руке он держит увесистый мешок. И тут вахтенный взрывается.

— Че так поздно, та-щ мичман? С минуты на минуту корабель в моря...

— Патрончики заряжал, патрончики, — мичман торопится скрыться за дверью.

В три часа ночи на кораблях сыграли «К бою и походу приготовиться», а в четыре флотилия, разом снявшись, кильватерной группой (строим друг за другом) отправилась выполнять задачу.

Сентябрь. Вовсю светит солнце. Ключевская сопка в снегу, и шапка ее мерцает, словно хорошо глазированный и напудренный торт от бликов свечей. Корабли, тараня блинчатый лед, на среднем ходу идут и идут в совершенно космической тишине. Кое-где попадают ледовые глыбы, их принесло с севера течением и ветром, и почти

каждая обжита тюленями или морскими котиками. Рядом снуют вездесущие косатки, режут угловатыми плавниками воду около льдин в надежде на поживу. Иную из животинок косаткам удается подстеречь или столкнуть со льдины. И тогда жертвы верещат, пытаются как-то вырваться.

Однако все это недолго. Косатки быстро рвут добычу на куски.

Мимо «на бреющем», почти касаясь мачты и фальштрубы, словно рой, пролетают табунки птиц. Здесь и утки, и какая-то мелочь, и гуси.

К обеду строго выстроенная корабельная группа распалась. Иных уже почти не видно — тех, что на дуге горизонта. Других не видно вовсе. А по трансляции звучит команда: «К выполнению задачи «ноль» приготовиться».

И вот тут «сундуки» забегали, засуетились. Устремившись по трапам наверх, они на ходу сбрасывают с ружей чехлы, прут за собой мешки с патронами, иные, особенно нетерпеливые, загоняют патроны в стволы уже внизу. И остается непонятным, как в этом бедламе обходится без жертв. Такая истерия.

На корме по бортам уже готовы команды матросов с сачками на длинных шестах. Корабль медленно движется, чертя на ледовом поле ломаную линию. А наверху, на баке, уже началась пальба. Трансляцию забывают выключить, и потому во всех уголках слышно, как орет командир:

- Стрелять только по серьезным целям! Лысук, топорков, крохалей и прочую вонючую дрянь не брать!.. Эй, на корме! Почему гуся не подобрали? Не достали они... Машинное, оба назад! Правый борт, на корме, если еще раз не успеете, я вам на берегу распишу пульку по пять суток на нос! Своим ходом за гусями поплывете мне...

Уже время обеда, и по трансляции дана соответствующая команда. Но куда там! Поскольку для мичманов это главный день года, в их кают-компании зря томятся борщ и разносолы...

На верхней палубе, как и положено, король всегда один. Там правит удивительно востроглазый, расчетливый, подъявольски меткий стрелок мичман Бут. Он так лупит из своей пятизарядки, что специально выделенный ему в помощники матрос едва за ним поспекает.

— Три патрона «четыре ноля», — командует мичман. И оттягивает по не успевшему увернуться табунку гусей. Как и положено «королю» — три из трех.

— Два — «троечки»! — И удачно отстреливается по уткам.

— Повтори три по «четыре ноля»...

Подносчик патронов суетится и ворчит: заряжал бы уж сразу пять. Но Бут знает: отстрелять по подлетающему табунку все пять без проблем, однако тогда он просто не успеет дослат патроны в обойму. А три — в самый раз. И два из трех гусей падают под борт, а третий, ударившись о палубу, лопаются, словно переспелый арбуз, и истекает...

Этот шабаш продолжается несколько часов. Только когда битой птицы накидали в пластиковые бочки доверху, пальба понемногу стала стихать. Собрав гильзы, идут обедать стрелки. И лишь Бут остается. Теперь он коротко, одним-двумя патронами отстреливается по целям. Надстройка и палуба корабля — в пятнах крови и слизи и здорово напоминают антураж цеха мясокомбината. Сотню птиц, быть может, больше, подстрелил Бут, удачливый и опытный стрелок.

Однако ему мало, и он, выпросив у командира автомат, пытается взять морского котика. Конечно, попадает, разумеется, убивает. Однако морская животиночка, конвульсируя, соскальзывает со льдины, а команда на корме не успевает ухватиться за гуттаперчевое, словно из скользкой резины, существо, и оно медленно тонет. В чистой воде хорошо видно, как подстреленный котик, слабея, уходит, уходит, уходит в глубину.

Сооруженной из тонкого троса петлей шестую или седьмую совершенно ни для чего не пригодную в корабельных условиях тварь все же удается зацепить, завести кран-балку и вытащить наверх. На палубе тотчас образовалась лужа крови и каких-то соплей... Боцман принялся орать на всех собравшихся около поглазеть на неведому зверушку. Мол, загадили, падлы, весь корабель, а мыла на базе уже год как не дают...

А потому божью тварь столкнули с кормы. До дна там было шесть километров, и в кубриках, во время послеобеденного отдыха, матросы обсуждали важное — успеет ли туша «приземлиться» за два часа послеобеденного отдыха. Кто-то даже пытался на полях газеты произвести некие вычисления. Потом спорили — верен ли расчет.

Назавтра корабли, собранные волей командующего в заданной точке, выстроились в длинную, на добрый десяток миль, шеренгу и пытались выполнить вполне конкретную задачу. То бишь попасть из наличных артиллерийских средств по запущенной с подлодки крылатой ракете, летящей параллельно шеренге на минимальной высоте.

По первым трем ракетам комендоры всех кораблей отстреливались, что называется, в белый свет как в копеечку. Четвертую кто-то умудрился зацепить. А пятая...

Мичман Бут сидел на дежурстве в рубке машинного отделения и скучал. После волнений в связи с большой охотой немного «ныло в грудях».

Потом в экипаже, в дивизионе, да что там — на всей флотилии будут говорить: мол, Бут предчувствовал нечто, жаловался на сердце. Но это вряд ли. Как говорил один поэт: «Был он доморощенный философ», — это да. А выглядел он в тот день вполне здоровым, как нормальный, взращенный на картошке, буряке, сале, фруктах от пуза и грецких орехах, хохол. А что до каких-либо стений, угрызений совести, тем паче сердечных болей или там роковых предчувствий... Не в тот адрес. Это было видно уже по тому, как он отрывался на верхней палубе накануне. Закончил стрельбу с последним отстреленным патроном.

...Наверху палили из пушек, и корпус корабля слегка подрагивал. Несмотря на достаточно высокую для срочников цену — десять суток отпуска, — сроду с тральщиков никто не попадал по этой чертовой ракете. Не ожидали такого и на этот раз. Тем более что ветерок ерошил море, и корабль изрядно качало.

В ходовой рубке подметили, что корабль помалу дрейфует, и совсем не в желательную сторону — к трассе ракет. После некоторого раздумья командир решил подстраховаться и дал команду, чтобы подработали обеими машинами назад. Нужно было выровняться в общем строю.

Но в рубке машинного отделения говел на дежурстве Бут. А в грудях у него после вчерашнего ныло. И вообще, был он чуть-чуть философ.

... Пятая ракета прошла тральщик насквозь и ушла дальше, даже не качнув оперением стабилизатора. Отчего-то убило всего одного человека. От него просто ничего не осталось, будто и не было вовсе. Только начищенная и смазанная пятизарядка в углу рубки, масло в пластиковом баллончике, ружейный шомпол, кусок плотного галаночного сукна да изрядно истоптанные, однако до блеска надраенные форменные ботинки говорили за то, что человек-то был. И был он большой аккуратист.

С известной долей безразличия к судьбе человека, какое зачастую бывает в сугубо мужских коллективах, где много людей временных, в экипаже решили: Бута забрали «наверх» — прицел поправить.

А что случилось на самом деле? Ничего не случилось. Просто... в городок, в котором проживали сытые, самодовольные бюргеры, вернулся дудочник в черном плаще с красным подбоем.